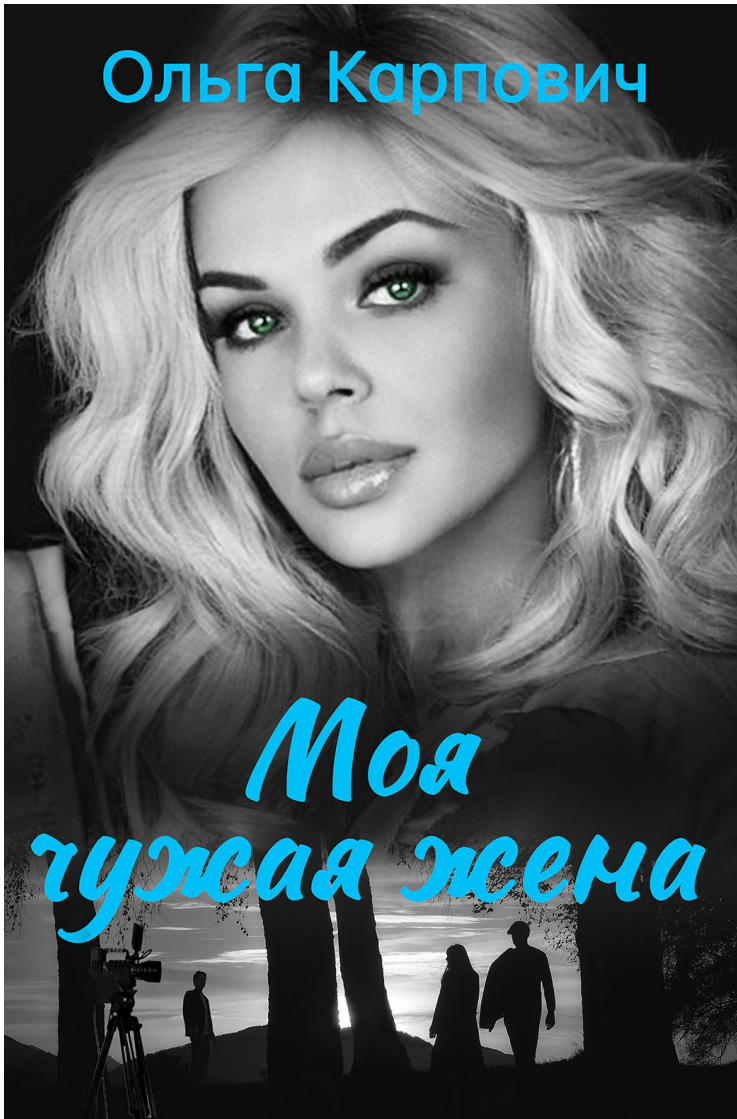


Ольга Карпович

Моя  
тухая жена



# Ольга Юрьевна Карпович

## Моя чужая жена

*Текст предоставлен правообладателем*  
*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=3948255](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=3948255)*

### Аннотация

Аля вышла за Никиту замуж, хотя любила его отца, знаменитого советского режиссера. Ситуация осложнилась еще и тем, что отец и сын оказались соперниками не только в любви, но и в профессиональном деле. Этим троим не ужиться вместе, но и друг без друга они тоже не могут.

# Содержание

Часть первая	12
1	12
2	29
3	58
4	68
Конец ознакомительного фрагмента.	79

# Ольга Карпович

## Моя чужая жена

– Ой, а я вас, кажется, знаю. Вы случайно не артист? Где же я вас могла видеть?.. Ой нет, нет, не говорите, я сама вспомню! В «Ловушке смерти»? Или в «Пыли столетий»? Нет, не то... Ну надо же, из головы вылетело.

Объемистая румяная проводница напряженно вглядывалась в мое лицо, хлопая лазоревыми веками и морща широкий лоб. Я досадливо помотал головой, буркнул «вы ошиблись» и протиснулся мимо ее пышного, обтянутого синим форменным пиджаком бюста в коридор вагона. Однако отделаться от удалой железнодорожной киноманки было не так-то легко. Я шел к своему купе, она же семенила за мной, возбужденно приговаривая: «Обслужим, обслужим по первому разряду», суля какие-то немислимые яства – балычок, водочку, свежую икорку непременно. Наконец мне удалось нырнуть в щель своего двухместного купе и скрыться за оклеенной светло-коричневым пластиком дверью. Волоокая проводница сдалась не сразу, а продолжала еще некоторое время неуклюже топтаться в коридоре и бормотать:

– «Нечаянная встреча»? «Разлуке вопреки»? Эх, голова-то садовая, а...

Я бросил взгляд в прикрученное к двери тусклое зеркало, уныло оглядел собственную хмурую физиономию с на-

крепко пришитой гримасой богемной отстраненности и сказал отражению:

– Не зарастет народная тропа к тебе, Спилберг местного разлива.

Затем снял плащ, повесил его на крючок, сунул под полку небольшой чемодан и с силой потянул вниз ручку окна. Купе сразу же наполнилось звуками вокзала. Застучали каблуки по платформе, зашаркали колесики багажных сумок... «Уважаемые пассажиры, скорый поезд номер сто сорок четыре отправляется с третьего пути», – гнусаво возвестил голос диспетчера, и взревел паровоз. Запахло дымом, масляной смазкой, потянуло жареными беляшами из вокзального буфета. Прошли мимо окна, взрываясь хохотом, две раскрашенные девахи, протопал нагруженный чемоданами отец семейства, заспешил куда-то вокзальный служащий в форменной фуражке. Слабое осеннее солнце уже уползло за здание вокзала, сгущались сумерки, начинал накрапывать дождь.

Я сел на аккуратно застеленную полку и сдвинул в сторону занавеску, чтобы предаться любимому занятию – наблюдению за людьми. Что может быть увлекательнее, чем подслушивать, подглядывать, оставаясь при этом невидимым. Обрывки диалогов, сценки, жесты... И все мало-мальски необычные эпизоды отщелкиваются на пленку памяти и покоятся там до поры до времени, для того чтобы быть потом, при случае, отображенными на кинопленке и... забытыми сразу после премьеры.

В окно вплыли нестройные, разбитые звуки аккордеона. Я заметил бредущего по перрону старика в старом обвисшем пиджаке с протертыми локтями. Этот жалкий музыкант, задевая орденские планки, растягивал мехи аккордеона, который, хрипя и фальшивя, выдавал старинное танго «Счастье мое, ты всегда и повсюду со мной...».

Неожиданно мне вспомнился отец. Вот он в ванной комнате нашей старой дачи бреется перед зеркалом – щеки в мыльной пене, играют мускулы загорелой широкой спины. Стоит и напевает себе под нос: «Ты всегда и повсюду со мной...» И мать – еще молодая, с темной косой вокруг головы, с удивительно яркими, живыми глазами, еще не затуманенными болезнью, помутившей ее рассудок. Мать идет мимо по коридору со стопкой выглаженного белья, останавливается и с глупой счастливой улыбкой смотрит на отца снизу вверх влюбленно и преданно. У влюбленных женщин вид всегда немного глуповат. Если любовь взаимна – это выглядит трогательно, если же нет – жалко и унижительно. Мать глядит в спину отцу, он оборачивается и спрашивает: «Тебе чего, Тонюша, вода нужна?» И она, смутившись, прячет глаза и поспешно уходит по коридору.

Я извлек из бумажника купюру, высунулся в окно и протянул деньги старику. Тот поднял на меня глубоко запавшие водянисто-голубые глаза, несколько секунд вглядывался в мое лицо, затем с королевским величием принял бумажку, сунул в карман пиджака и зашаркал дальше по перрону.

Аккордеон продолжал с хрипом повествовать об обретенном счастье.

Я посмотрел на часы – поезд должен был скоро отправиться – и вытащил из бокового кармана сумки книжку, купленную перед отъездом: Аль Брюно – какой-то нашумевший французский автор, недавний лауреат «Золотого пера», о котором, захлебываясь восторгом, кричали в последний месяц все журналы с претензией на интеллектуальность. И моя бессменная редакторша давно уже насаждала на меня с этой книгой, чтобы я рассмотрел ее на предмет постановки. Что ж, придется посвятить ночь в дороге чтению очередной сводящей скулы зауми. На обложке романа, словно в насмешку, нарисована была кинокамера.

«Ну, мать твою, и тут!» – Я совсем приуныл.

В кармане пиджака завибрировал мобильный телефон. На экране высветился незнакомый номер. Какая-то бойкая журналистка, величая меня по имени-отчеству, непременно хотела услышать, что я могу сказать о только что завершившемся кинофестивале. Не нахожу ли я, что жюри необъективно? А как насчет зрителей?

– Послушайте, я сейчас не готов отвечать на ваши вопросы. Обратитесь к моему пресс-секретарю. Всего доброго, – оборвал я ее и раздраженно нажал отбой.

Интересно, как они умудряются добывать номера телефонов знаменитостей? Я лично обещал смертную казнь за разглашение этой строго секретной информации. И вот на тебе.

До отправления поезда оставалось минуты три, и я успел уже порадоваться, что поеду, видимо, один, как вдруг дверь купе с шумом отодвинулась и на пороге появилась девчонка, совсем юная – лет двадцати, – черноглазая, с коротким ежиком темных волос. Из-за отворота ее замшевого пиджака выглядывала мордочка щенка немецкой овчарки. Щенок явно жаждал свободы, рвался из-под пиджака всеми лапами, бешено сверкая на меня круглым блестящим глазом. Моя попутчица, одной рукой удерживая звереныша, другой пыталась впихнуть под полку небольшую сумку.

– Давайте помогу, – предложил я и протянул руку к щенку.

Тот ловко вывернулся и тяпнул меня за палец.

– Ух, какой, – усмехнулся я. – Как же тебя зовут, зверь?

– Тим его зовут, – с готовностью отозвалась девушка. – А я Софи, Софья.

Я тоже назвал себя. К счастью, моя фамилия была ей незнакома.

Девушка расположилась на соседней полке, устроила щенка в гнездышке из подушек и охотно принялась рассказывать мне, кто она, откуда и куда направляется. Догадка моя подтвердилась, моя попутчица действительно жила во Франции, правда, мать ее по происхождению была русская, эмигрировала из СССР много лет назад. Мне пришлось выслушать довольно запутанную историю о редакторе какого-то парижского журнала, где Софи работала внештатником («я



там есть корреспондент»), который проводил какой-то конкурс, и вот Софи оказалась лучше всех, и ее направили в Питер на рок-фестиваль, и там некий юный музыкант, разумеется, настолько пленился ею, что подарил ей вот этого щенка в залог нержавеющей первой любви. Рассказывая, девушка строила милые гримаски, закатывала глаза, откидывала голову и поглядывала из-под ресниц, проверяя, произвели ли на меня должное впечатление ее чары. Забавно было наблюдать за этой начинающей сердцежкой, только недавно, видимо, научившейся женским приемам и теперь применяющей их без разбора ко всем особям мужского пола, не исключая даже не первой свежести кинорежиссеров.

– А мамá мне говорит: «Куда ты поедешь? Ты этой страны не знаешь. Там тебе не здесь, ограбят, изнасилуют...» – бойко продолжала свою повесть Софи.

– Но вы, разумеется, ее не послушали и решили, что разберетесь со всем сами, – вставил я.

– Да. А как вы догадались, вы волшебник? – Софи распахнула черные глаза, пытаясь изобразить милую непосредственность. Это получилось у нее довольно успешно, лишь на миг блеснул в темной глубине хитрый озорной огонек и тут же спрятался.

– Помилуйте, Софья, кто же в вашем возрасте слушает родителей, – доброжелательно подколол ее я.

– Но вы не знаете мой мамáн, – заявила моя попутчица со свойственным юности апломбом. – Она отправилась

в Россию за мной. Но ее в Москве задержали дела, и в Питере я оказалась одна.

– Знаете, Софи, вот вы сказали о матери... Вы очень напомнили мне меня в юности. О, как я спорил со своим отцом, как пытался ему доказать свою правоту и не желал его слушать, и все мне казалось, что он пытается вылепить из меня усовершенствованную копию себя самого. Папа у меня был, надо признаться, человек известный... классик советского кинематографа, знаете ли, Софья... Сейчас о многом хотелось бы его спросить, да поздно уже...

Кажется, выступление мое получилось не слишком удачным. Софи чуть оттопырила нижнюю губу и, пожимая плечами, принялась горячо рассуждать о том, что оглядываться назад бессмысленно, что жить нужно здесь и сейчас. Я, признаться, плохо слушал, уже досадуя на себя, что зачем-то ни к месту разоткровенничался.

Я посмотрел в окно. Уже стемнело, едва виднелись пронесившиеся мимо деревни, полуоблетевшие деревья, голые поля. На стекле поблескивали тонкие штрихи дождя. Дальнейший разговор с Софьей вдруг представился мне настолько обыденным, неинтересным, будто я был знаком с ней уже не первый год, и ничего нового она поведать мне не могла. Дождавшись, когда девушка умолкнет, я потянулся к книжке.

– С вашего позволения я, милая Софья, почитаю немного, – улыбнулся я, открывая книгу.

Софи бросила быстрый взгляд на обложку, хмыкнула и насмешливо подняла бровь.

– О, я знакома с этим автором. Очень популярен сейчас. А по мне, так пустая болтовня и скука, – категорично заявила Софи. – А как вам, нравится?

– Пока не знаю, – пожал плечами я и перевернул первую страницу.

# Часть первая

*...И вот опять, и вот опять,  
Встречаясь с этим темным взглядом,  
Хочу по имени назвать,  
Дышать и жить с тобою рядом...*

*...Забавно жить! Забавно знать,  
Что под луной ничто не ново!  
Что мертвому дано рождать  
Бушующее жизнью слово!*

**А. Блок**

## 1

Золотистый солнечный луч пробрался сквозь кружевную занавеску, прочертил полосу на крахмальной белой скатерти и весело запрыгал по застекленным фотографиям на стене. Домработница Глаша, немолодая полная женщина в темном сатиновом платье, тяжело переваливаясь, вошла в столовую и принялась обмахивать фотографии тряпкой, словно хотела стереть солнечные зайчики вместе с пылью. Одну из рамок она вытерла особенно тщательно, даже сняла с гвоздя и несколько минут подержала в ладонях, с улыбкой вглядываясь в изображение.

С фотографии смотрели молодой черноглазый красавец в летней рубашке с коротким рукавом, круглолицая улыбающаяся женщина с замысловато уложенными волосами и недовольный пятилетний мальчик в бескозырке, надвинутой на непослушные кудри.

Никитушка...

Как же, как же, сама сшила тогда ему бескозырку, уж так мечтал милый стать бесстрашным моряком, особенно после того, как посмотрел отцовский фильм о крейсере «Варяг». Ну и сшила ему матросский костюмчик, дура деревенская, еще и приговаривала:

– Морячок ты мой золотой!

И вот ведь что вышло. Поехали они летом в Гурзуф: и Дмитрий Владимирович, и Антониночка Петровна, и Никита маленький. Никита в первый же день бескозырку нацепил, расхаживает, красуется, а отец ему:

– Какой же ты моряк, если плавать не умеешь. Сегодня учиться будем.

Забросил ребенка в воду да и отпустил – выплывай, мол, как знаешь. Никитушка, конечно, захлебнулся, забарахтался, Антонина Петровна подбежала, вытащила его на руках из моря. Мальчик в слезы, а Дмитрий Владимирович ему:

– Что ты за мужик, чего разревелся?

И Антонине Петровне досталось.

– Сделала, – говорит, – из него мамкиного сынка, так и будет всю жизнь за твою юбку держаться.

Ох, лучше уж не вспоминать...

Глаша повесила фотографию на место, полюбовалась еще немного, склонив голову к плечу.

«Что и говорить, Дмитрий-то Владимирович уж такой красавец был в молодости, да и сейчас почти не изменился. Еще и покрасивше будет молодцев этих холеных, которых в фильмах своих снимает. И Никитушка в отца пошел, мальчик-картинка: широкоплечий, улыбчивый, на актера этого французского похож, как бишь его, Дина Рида, вот. Только лучше еще, лицо добрее. Эх, а Тонюшка-то сдала, конечно, сдала... Болезнь эта проклятая! Вот ведь беда!»

Глаша прошла к секретеру, стряхнула пыль с хрустальной пепельницы, сорвала страничку с отрывного календаря – 15 июля 1973 года.

Из кухни запахло подгорающим тестом, и Глаша бросилась к духовке. Женщина вытащила противень с румяными пирожками и накрыла их чистым полотенцем, чтобы не зачерствели. Ведь Никитушка сегодня приезжает, он любит с вишней. Как же можно не расстараться к приезду мальчика, целый год ведь в отъезде, домашней еды не видел.

Глаша взглянула на часы. Стрелка подползала к девяти. Домработница живо вошла на приземистую деревянную табуретку, достала из подвешенного почти под потолком аптечного шкафчика таблетки и принялась аккуратно выкладывать их на блюдце. Синенькую, две беленьких и желтую... Это для Антонины Петровны.

— Ох бедная моя, бедная, — по устоявшейся привычке бормотала Глаша себе под нос, наливая в высокий чисто отмытый стакан воды из графина. — Что уж тут говорить, несчастье, конечно. И всегда она была нервная да впечатлительная, даже и в молодости. А годы-то идут, да и жизнь с Дмитрием Владимировичем не сахар — горячий он человек, резкий, крутой. Опять же известный, знаменитый кинорежиссер. И актриски эти так и виснут на нем, бесстыжие. Ну что уж говорить, дело знакомое. Тоня, бедняжка, так убивалась, так страдала. Сидит целыми неделями одна, а муж-то где. Муж там где-то снимает!

Глаша неодобрительно покачала головой, поставила блюдце с таблетками и стакан на поднос и засеменила к лестнице, ведущей наверх, продолжая свой привычный монолог:

— Да и люди приходят разные, и оттуда тоже бывают, из этого, Комитета безопасности. Как первый раз Дмитрий Владимирович за границу должен был ехать, так и явились, тут как тут. А она, сердешная, так дрожит за своего Митеньку, так дрожит. Вот нервы и сдали. Все плакала, потом заговариваться стала, потом доктора, больницы. Теперь вот таблетки глотать каждое утро. Эх, что говорить, что говорить... Бедная женщина...

Глаша на ходу бросила взгляд в приоткрытое окно. По дорожке, ведущей от деревянных резных ворот к дому, шел Дмитрий Владимирович, хозяин. Высокий, статный, черные, почти нетронутые сединой волосы касаются ворот-

ника белой рубашки, лицо открытое, спокойное, загорелое, а глаза веселые, темные, цыганские, как Антонина Петровна говорит. А с ним рядом гостья какая-то – молоденькая совсем, тоненькая, в белом льняном сарафане, ну что твой солнечный лучик!

«Интересно, кто такая?»

Дмитрий что-то рассказывал ей, указывал рукой на дом, девушка внимательно слушала, изредка поглядывая на Редникова, задавала какие-то вопросы.

«Ох, стол-то я к завтраку еще не накрыла, надо поторопиться», – спохватилась Глаша и заспешила вверх по лестнице.

Аля жила в Москве уже четыре года. Она приехала из Ленинграда и поступила учиться в Литературный институт на отделение очерка и публицистики и, в общем, считала себя все повидавшей, воспитанной жестокой столицей очеркисткой. Однако предложение мастера ее творческого семинара Ковалева Алю поначалу смутило.

– Вы ведь, Аленька, готовите серию публикаций о современном советском кино, – разглагольствовал Ковалев, постукивая кончиком ручки по деревянному столу. – Неужели не интересно вам познакомиться с самим Редниковым Дмитрием Владимировичем, главным его, кинематографа нашего, так сказать, светочем? Побеседовать? Может быть, даже побывать на съемочной площадке? Этот материал для вашей будущей дипломной работы оказался бы неоценим...



– Конечно, – кивнула Аля. – Но интервью... Как-то неожиданно. Я ведь не на журфаке учусь...

– Впрочем, вы, может быть, так сказать, робеете... Все-таки человек такого масштаба... – хитро прищурился Ковалев.

И Аля тут же взвилась, воспрянула духом:

– Нет, почему же? Я с удовольствием. Когда можно с ним встретиться?

А про себя подумала: «Робеете, как же... Ха!»

И вот теперь она ехала в Подмоскowie, где ее – по предварительной договоренности Ковалева – должны были встретить и проводить на дачу «самого Редникова», титана современного советского кино и личность небывалого масштаба.

Аля попыталась представить себе, что ее ожидает. Должно быть, «светоч» выйдет на станцию какого-нибудь подобострастного секретаря, тот проводит ее в пыльный прокуренный кабинет, где за массивным столом над кипой бумаг будет возвышаться герой очерка, напыщенный морщинистый бронтозавр, увенчанный благообразными сединами. «Что же вам рассказать, деточка?» – протянет он дребезжащим тенорком и начнет живописать ценность «главейшего из всех искусств» для построения коммунизма.

«Брр... – Аля передернула плечами и решительно откинула спадающие на лоб светло-русые волосы. – Что ж, придется выдержать, раз уж я зачем-то ввязалась в эту историю».

Электричка, весело присвистнув, остановилась, тамбур

наполнился гомонящими и толкающимися бабками в платках и с корзинками. Они оттеснили Алю от двери, посыпались на платформу, ворча и переругиваясь. Девушка вышла последней, огляделась. В воздухе сладко пахло цветущими липами, в глаза било солнце, и она, сощурившись, не сразу разглядела направившегося к ней от выкрашенного желтой краской здания станции высокого загорелого мужчину.

«Кто бы это мог быть? – недоумевала Аля. – Молодой, может быть, чуть за сорок. Секретарь? Да нет, не похож... Кто же?»

– Привет, – просто поздоровался незнакомец. – Вы, наверное, Александра?

Он смотрел на нее открыто, черные глаза будто бы чуть подсмеивались, но лицо оставалось серьезным. Мужчина протянул раскрытую широкую ладонь и пожал ей руку. Аля ощутила исходивший от него запах – аромат терпкого, заграничного наверное, одеколona, свежееглаженной рубашки и еще чего-то, может быть, горячего летнего солнца.

И ответила почему-то вдруг осипшим голосом:

– Да, Аля, здравствуйте.

– Здравствуй, Аля, – улыбнулся мужчина. – Я Дмитрий Владимирович. Очень приятно. Пойдемте, провожу вас к нам.

В конце платформы, у лесенки, ведущей вниз, им повстречался дышащий перегаром мужик с дребезжащим аккордеоном поперек груди.

– Девушка! – взревел он. – Барышня, красивая вы моя, помогите рабочему человеку на опохмел.

Аля, чуть отвернувшись от просителя, сунула руку в висевший на плече холщовый мешок. Чтобы раздобыть себе эту очень модную – хиппи-стайл – сумку, она записывалась в очередь на «посмотреть иностранный журнал мод», полночи снимала выкройку, а потом все пальцы исколола, пришивая бахрому. Аля достала из сумки кошелек и протянула мужику 10 копеек.

– Покорнейше благодарим, – гаркнул он и сунул монетку в карман пиджака.

– Благотворительностью увлекаетесь? – покосился на нее Редников.

– А вы нет?

– Нет, – отрезал он. – Не терплю! Каждый сам за себя в ответе.

«Вот это и есть в нем главное, – попыталась сосредоточиться Аля. – Уверенность. Не самоуверенность, а устойчивая, непоколебимая убежденность в своей правоте. Наверное, с этого очерк и начну...»

Дмитрий Владимирович спустился по ступенькам и обернулся к Але.

– Нам вот эта дорожка нужна, пойдемте. – Черные глаза улыгнулись.

«Необыкновенные глаза, – подумала Аля. – Бездна спокойствия и уверенности в себе. Но, если взглядеться в них,

нет-нет да и сверкнет на самом дне какая-то бесовская искорка, вечно ускользающая саламандра, и сразу же спрячется куда-то. Что же вы за человек такой, режиссер Редников? Смотрит вдаль, как цыган, размышляющий о предстоящем кочевье. И столько упрямой силы в глазах. Цыган. Цыганский барон...»

И Аля двинулась за ним по вымощенной плитками дорожке, ведущей в глубину дачного поселка.

Завтрак был накрыт на веранде. На деревянном полу лежали узорчатые тени от резных ставен, в вазе на подоконнике клонились в разные стороны ромашки, васильки и тяжелые янтарные колосья ржи. На столе, застеленном накрахмаленной скатертью, блестели чисто вымытые стаканы, сверкала металлическим боком серебряная сахарница, золотилось масло в хрустальной масленке. Тонко нарезанные ломтики хлеба, домашнее варенье в вазочке, тягучий солнечно-желтый мед.

Але после четырех лет в общежитии казалось, будто она вернулась в детство, неожиданно попала домой. Впрочем, какое детство? Дома, в Ленинграде, мать, учительница литературы и одновременно бессменный школьный парторг, вечно спешившая, занятая, никаких сервированных столов не устраивала, глотала что-то на ходу, не отрываясь от написания очередной речи к грядущему партсобранию. Да и вообще все намеки на домашний уют считала буржуазной пошлостью. Аля же обычно обходилась бутербродом, жевала, си-

дя на подоконнике, запивая кефиром из бутылки. Может быть, оттого и ушел когда-то давно от матери отец, что в жизни у нее на первом месте всегда были партийные заседания, митинги и трибуны, на семью же не оставалось ни времени, ни сил, ни, как подозревала Аля, желания.

Рядом с Редниковым села, уставясь в тарелку, Антонина Петровна, его жена, которой Дмитрий успел уже представить Алю. Тоня, женщина с усталым, болезненным лицом, с забранными в высокую, но почти развалившуюся прическу седыми у корней волосами, одетая в длинный светлый халат, произвела на Алю странное впечатление. Непонятно было, почему у молодого Редникова такая невзрачная, рано постаревшая жена. Странно было ее поведение – сидит опустив глаза, в разговоре не участвует, но вдруг вскинется, бросит настороженный, тревожный взгляд вокруг, словно не понимая, где она находится. Удивительным было и обращение Редникова с женой – почти не смотрит на нее, а если обращается, то с привычной снисходительностью, как к больному ребенку: «Верно, Тонюша, так ведь?»

Неожиданно во дворе заворчал мотор автомобиля, Тоня встревоженно вскинулась, домработница Глаша бросилась к окну и, всплеснув руками, вскричала:

– Антонина Петровна! Дмитрий Владимирович! Приехал, приехал! Никитушка приехал!

Застучали шаги по деревянной лестнице веранды, и в дом влетел молодой симпатичный парень в модных расклешен-

ных джинсах и кепке, надвинутой на вихрастую голову. Парень с размаху обнял Глашу, приговаривая:

– Ах ты, моя пампушка!

На плече у него уже повисла Тоня, причитая и всхлипывая:

– Сыночек мой, Никитушка, воробушек...

Редников хлопнул сына по плечу:

– С приездом! Ну как ты, рассказывай!

Тоня же, испуганно оглянувшись на Алю, громко зашептала:

– Молчи, молчи, Никитушка, ничего не говори. Они повсюду. Девку свою шпионить прислали. Но меня-то им не провести!

Аля так и вздрогнула от ее слов: «Кого шпионить прислали, меня? Она что же, сумасшедшая, эта Антонина Петровна?»

Никита растерянно посмотрел на мать, оглянулся по сторонам, увидел Алю, застывшую с чашкой в руке, оглядел ее цепко, оценивающе. Девушка, ощутив его пристальный взгляд, сдвинула брови и отвернулась.

– Ну что ты, Тонюша, перестань, – вступил Дмитрий Владимирович. – Дай нам с сыном хоть поздороваться.

– Мамулечка, ты у меня молодец! – отозвался Никита, высвобождаясь из объятий матери и подходя к отцу. – Здорово, бать!

Редников обнял сына и тут же ловко сделал ему подсечку,

от которой Никита, потеряв равновесие, с размаху шлепнулся в кресло.

– Бать, ну вот, опять твои штучки, – обиженно загудел Никита, покосившись на Алю.

Она же довольно ухмыльнулась: «Что, сбили с тебя спесь, юноша в кепке?»

– В Сорбонне своей совсем спорт забросил, – продолжал добродушно подкалывать сына Дмитрий. – Кепку нацепил... Богема, тоже мне...

Никита покосился на отца с плохо скрываемым раздражением, криво усмехнулся:

– Кто-то же должен быть классово чуждым элементом, чтобы вам было против кого борьбу вести.

Он выбрался из глубокого кресла, прошелся по комнате, хмуро поглядывая на отца, отодвинул плечом Глашу, топчущуюся около него с блюдом пирожков:

– Попробуй, Никитушка, твои любимые, с вишенкой, я специально к твоему приезду...

Наконец остановился возле Али, снова уставился на нее с нагловатой усмешечкой, однако теперь как будто еще и с вызовом – мол, мы еще посмотрим, кто тут в доме хозяин.

– Гостья? Бать, познакомь!

– Аля, как вы, наверное, уже догадались, этот обалдуй – мой сын Никита. Никита, это Аля, студентка Литературного института.

Никита склонился перед Алей в дурашливом поклоне,

поднес ее руку к губам со смесью галантности и сарказма. Отец неодобрительно вскинул бровь:

– Поднабрался штучек парижских.

Никита поднял глаза, посмотрел на нее снизу вверх и подмигнул. Глаза у него были почти как у Дмитрия, разве что чуть светлее, а рот, наверное, от матери – яркий, смешливый. В целом сын Редникова был очень похож на отца – те же широкие плечи, горделивый поворот головы, лукавый прищур цыганских глаз. Однако чего-то не хватало в нем, какого-то неуловимого штриха.

«Забавный парень, – решила Аля и взглянула на стоявшего у стола Дмитрия Владимировича. – Забавный и... понятный. А вот его отец... Тут все не так просто...»

Никита, заметив ее изучающий взгляд, чуть оттопырил нижнюю губу, выпустил Алину руку и отошел в сторону.

Глаша принялась собирать со стола стаканы. Никита присел рядом с матерью, принялся негромко рассказывать ей о чем-то. Тоня, блаженно улыбаясь, гладила его по голове, перебирала спутанные волосы. Дмитрий Владимирович, насвистывая щемящую мелодию довоенного танго, вытащил из пачки папиросу, постучал ею о край стола, прикурил и обратился к Але:

– Ну что же, Александра, давайте пройдем в кабинет, вы зададите мне свои вопросы.

В этот момент во дворе снова заворчала машина.

– Еще кто-то пожаловал, – объявила Глаша, посмотрев



за окно. – Никитушка, ты уже друзей позвал, что ли?

Парень привстал, отдернул занавеску:

– Мои друзья на черных «Чайках» не разъезжают. Это, батя, твои киношные бонзы, наверное.

Тоня неожиданно вскрикнула, вскочила со стула, опрокинув чашку, вцепилась побелевшими пальцами в край стола, остановившимся взглядом уставилась на парковавшийся во дворе блестящий на солнце черный «ЗИЛ».

– Это они, они, я чувствую... Дмитрий Владимирович, это они, за мной. Опять... – забормотала она жалким срывающимся голосом и мертвой хваткой вцепилась в плечо мужа. – Не отдавай меня им, защити.

Редников-старший пытался обнять ее, успокоить, разжать скрюченные пальцы, Тоня же словно не слышала его, дрожала и нервно озиралась по сторонам. Когда дверь распахнулась и на веранде появились двое в официальных черных костюмах – один солидный, приземистый, с брюшком, второй помоложе, вертлявый, в поблескивавших на носу очках, – Тоня уже совсем перестала владеть собой, завизжала и забилась в руках Редникова.

– Можно к вам? – спросил солидный и остановился, с опаской рассматривая Тоню.

– Если гора не идет к Магомету, как говорится, – поддакнул вертлявый лающим тенорком.

– Дмитрий,пусти меня! Вы все заодно с ними, да? – упиралась Тоня. – Пустипусти, мне страшно!

– Антонина, успокойся. Это ко мне из Госкино товарищи. – Редников попытался перекричать жену.

Затем, поняв, что это бесполезно, сделал знак Глаше, и той удалось перехватить хозяйку. С другой стороны подошел Никита. Поддерживая рыдающую Тоню, они увлекли ее к лестнице, наверх, в комнаты.

– Мы, может быть, не вовремя? – надменно осведомился солидный.

– Нет, почему же, – возразил Дмитрий. – Просто моя жена не совсем здорова. Все в порядке, не обращайтесь внимания.

Наверху еще слышны были истеричные вопли и всхлипы Тони, Редников же, не обращая на них никакого внимания, повел гостей по коридору:

– Проходите, пожалуйста, в просмотровый зал, товарищи, я все вам покажу.

На лестнице появился побледневший Никита, взглядом спросил отца, что делать.

– А, Никита, – широко улыбнулся Редников. – Спускайся, пойдем с нами. Тебе тоже интересно будет посмотреть.

– А... там как же? – Никита кивнул в сторону комнат второго этажа.

– Все нормально. Глаша все сделает, – невозмутимо отозвался Дмитрий Владимирович.

Никита злобно сощурился на отца, однако ничего не сказал, послушно сошел вниз. Дмитрий Владимирович повернулся, собираясь уходить, и увидел вдруг Алю, о которой

в общей суматохе все забыли. Она стояла у окна, перебирая кончиками пальцев золотистые головки ромашек в вазе.

— Аля, вы извините, что так вышло, — обратился он к ней. — Побеседовать нам сегодня, видимо, уже не удастся. Вы, если хотите, пойдемте с нами, посмотрите только что отснятый материал моей новой картины. Может быть, вам для очерка пригодится.

Аля, кивнув, прошла за ним в просторную комнату, окна в которой были завешаны глухими черными шторами. На стене находился большой экран, перед ним располагались кресла и стулья. На небольшом столике в центре комнаты Дмитрий Владимирович принялся расставлять коньячные рюмки.

Двое из Госкино расположились в креслах. Вертлявый покосился на Алю и что-то тревожно зашептал солидному. Тот оглядел девушку и по-хозяйски махнул рукой — пусть, мол, сидит, не помешает.

Никита, злой, нахмуренный, примостился на табуретке у выхода. Аля уселась на один из стульев. Небольшая дверь в стене приоткрылась, выглянул киномеханик. Редников о чем-то поговорил с ним, мужчина понимающе кивнул и скрылся за дверью.

Пузатый чиновник всем телом повернулся к Дмитрию Владимировичу, спросил:

— У вас в заявке было написано, что картина будет по мотивам автобиографии?

– Да, – кивнул Редников. – Можно сказать, повесть о моем детстве.

Дмитрий Владимирович опустился на стул. За маленькой дверью что-то зашуршало, застрекотало, экран на стене за-светился, и начался просмотр.

*Десятилетний мальчик в белой рубашке, коротких шортах и нитяных чулках на черных резинках стоит у окна в большой просторной детской.*

*Мальчик прижимается носом к стеклу, мимо носа летят снежинки, прочерчивая в ночном воздухе косые белые штрихи. Откуда-то издалека, наверно, из квартиры соседей, доносятся приглушенные звуки танго. «Счастье мое, ты повсюду со мной», – выпевает патефон.*

*В передней раздается звонок, и мальчик, ойкнув, несет-ся к постели и прямо в одежде юркает под одеяло. Он лежит едва дыша и изредка, приоткрыв один глаз, поглядывает, не происходит ли чего-нибудь интересного в комнате. А в детской действительно начинаются чудеса. Взволнованно пискнув, приоткрывается дверь, и на пороге, стуча огромными валенками и отдуваясь, появляется Дед Мороз в синей шубе и с белой, подозрительно смахивающей на вату бородой. Из-за его плеча выглядывает Снегурочка – довольно странная, в голубой шапочке, надвинутой на коротко стриженные волосы, и в очках на остром носу. За ними в комнату входит старая няня, останавливается у порога, сложив руки на груди, и с восторгом смотрит на мальчика.*

*– Мальчик Дима! – басом выговаривает Дед Мороз.*

*И Дима садится в постели, притворно трет совсем*

не сонные глаза и с притворным недоумением глядит на ночных гостей.

— А ну-ка, мальчик Дима, расскажи дедушке, хорошо ли ты себя вел в этом году, слушался ли родителей? Помогал ли маме с папой?

— Да-да, дедушка, да! — нетерпеливо подпрыгивая на кровати, кивает мальчик.

— А отметки у тебя хорошие? — вторит Снегурочка.

— Будто не знаешь! — досадует мальчик. — Одни пятерки!

— Ну что ж, Дима, ты заслужил подарок. — С этими словами Дедушка Мороз вынимает из-за спины корзинку, покрытую байковой пеленкой. Пеленка как-то странно дрожит, словно кто-то под ней возится.

— С Новым годом, Димуля, с новым счастьем! — улыбается Снегурочка.

Мальчик, широко раскрыв глаза, принимает подарок, осторожно отдергивает край пеленки, и из-под него тотчас же выглядывает черный любопытный нос. Дима от неожиданности вздрагивает, едва не выпускает корзинку из рук. Но вот пеленка уже откинута, и в лицо мальчику тычется мордочка щенка немецкой овчарки.

— Ой, мамочка, папуля, спасибо! — вопит Дима, позабыв от счастья, как следует обращаться к Деду Морозу и Снегурочке. — Я Дима, — шепчет он щенку, — а ты... Ты у нас будешь... Тим?

— Тим Димыч, — шутит отец.

И щенок, понимая, что ему здесь рады, заливается счастливым звонким лаем.

Дима, забыв обо всем на свете, возится со щенком. Отец, морщась, отклеивает бороду, обтирает подбородок, отплевывается от ваты. Он оказывается совсем молодым еще мужчиной с широким открытым лицом, с большими темными смеющимися глазами. Мать, расстегивая голубую шубку, подходит к окну, проверяет, плотно ли прикрыта форточка, и смотрит вниз, во двор, замечает что-то, и вся ее фигура мгновенно напрягается, горбятся плечи, голова словно вжимается, пальцы нервно теребят край голубой шубки.

Мать поворачивается к отцу, делает тому едва заметный знак подойти и говорит вполголоса:

– Опять приехали, посмотри. За кем на этот раз? Соседи говорили, вчера Пятакова арестовали, с четвертого этажа...

Отец выглядывает во двор через ее плечо, видит, как тормозит внизу черная «эмка». Из машины выходят трое и направляются к подъезду. Отец, раздраженно передернув плечами, отходит от окна, наставительно говорит матери:

– Образованная женщина, а слушаешь какие-то бабьи сплетни... Зря никого не забирают. И потом, время сейчас такое, опасное. Бдительность нужна. Разбираются товарищи.

Отец подходит к Диме, смотрит, как мальчик пытается-

ся дрессировать щенка, кладет сыну на плечо широкую ладонь. Тим ликующе тявкает, одновременно в передней звенит звонок.

Он врывается в дом как яростный и страшный сигнал тревоги. Он проносится по сонным комнатам, разрушая атмосферу уюта и тепла, словно вместе со звуком просачивается в дом страх, утробный ужас, различимый в отчаянном шепоте матери:

– Не будем открывать! Пожалуйста! Я боюсь! Можно через черный ход...

А Дима слишком увлечен новым другом, он не слышит звонка, не ощущает повисшего в воздухе запаха страха и беды, не понимает, почему отец, высвободившись из рук матери, говорит оскорбленно:

– Ты каким-то трусом меня выставить хочешь? Я ни в чем не виноват, и бояться мне нечего!

Дима сидит на полу, ласкает щенка, гладит его морду, приговаривая: «Тим, Тимошка...», и не замечает, как опустела детская, не слышит негромкого разговора в гостиной, вскрика матери, спокойного, рассудительного голоса отца и отрывистых приказаний кого-то незнакомого. Лишь спустя полчаса, когда мать начинает вдруг отчаянно рыдать там, за стенкой, Дима вздрагивает, поднимает голову и бежит в гостиную.

Первое, что он видит, – это поваленная елка на полу. Елка, пушистая полуметровая красавица, которую они



с отцом так тщательно выбирали в субботу, для которой вместе с матерью и Зиной клеили из цветной бумаги игрушки, лежит опрокинутая, и у самых ног Димы поблескивает рубиновым боком расколота красная звезда с верхушки.

Елка почти загораживает мальчику вход в гостиную. А там что-то происходит, какие-то крики, шум. «Бандиты! — решает Дима. — Я должен помочь, спасти!» Он опускается на колени и пытается проползти под ветками опрокинутой ели, сквозь зеленую хвою ему видна мать в сдвинутой на затылок голубой Снегурочкиной шапочке. Мать стоит почему-то на коленях, отчаянно голосит и цепляется за руку кого-то невидимого. Дима приподнимается повыше и понимает, что это рука отца. Отец без пиджака, волосы его всклокочены, он хочет что-то сказать матери, но его под руки хватают двое незнакомцев и выталкивают в коридор. Мать, хрипло рыдая, пытается удержать их, и один из ночных гостей грубо ее отталкивает. Мать, падая, вцепляется в черный хромовый сапог одного из незнакомцев, тот отбрасывает ее, и она остается распростертой на ковре. Отец же, в дверях, на секунду оборачивается, кричит что-то, но его быстро выталкивают за дверь.

Увиденное настолько нереально, что Дима в первую минуту замирает, словно не верит своим глазам. Да не может же быть такого! Так не бывает! Но уже в следующее мгновение он с криком рвется к матери сквозь еловые ветки, раздирая в кровь руки и лицо, рвется с единственным на-

мерением – растерзать, растоптать этих мерзавцев, этих бандитов, которые посмели ворваться в его жизнь, еще полную детских грез и мечтаний. Он кричит и рвется вперед, но чьи-то сильные теплые руки подхватывают его сзади и уносят обратно в детскую. Дима, не видя противника, молотит его кулаками и коленками, лишь в детской понимая, что держит его Зина, старая няня.

Глаза у Зины заплаканы, на лице странное выражение смирения перед неизбежностью, тупой покорности судьбе.

– Не гляди, миленький, не гляди, коралик, – ласково успокаивает его Зина.

От нее так знакомо пахнет – кухней, теплом, выглаженным фартуком... Ее родной голос, белорусский твердоватый выговор, ласковые слова... Дима понемногу затихает, замечает щенка, увлеченно грызущего на ковре его тапку.

– Смотри, вон и дружок твой новый тебя зовет. Правда, Тимка? Тихо, милый, видно, такая уж судьба... – уговаривает Зина.

И Дима успокаивается, поднимает с пола щенка, бережно прижимает его к груди.

А потом сразу жаркий летний день, вокзальная суета, сверкает на солнце новенький вагон поезда, снуют взад-вперед люди, нагруженные чемоданами и баулами. Дима, в белом матросском костюмчике, восторженно поглаживает никелированный поручень вагона. Рядом с ним, на поводке, подросший Тим. Он оглядывается по сторонам, вер-

тится, обнюхивает все вокруг, заливается веселым лаем. Чуть в стороне Зина, сосредоточенная, нахмуренная, пересчитывает багаж:

– Так... сумки, корзинка, чемодан... Вроде ничего не забыли.

Рядом с ней мать, в белом летнем платье, на груди – значок партийной конференции. У матери болит голова, она машинально трет висок, в смятении оглядывается по сторонам, словно потерялась, запуталась в сутолоке вокзала. Но рядом Зина, спокойная, уверенная, и мать невольно старается держаться возле нее.

– Завтра уж на месте будем, – рассуждает Зина. – Вот не знаю, как там, в деревне, дом-то мамкин без меня... Ну ничего, сестра писала – стоит, крыша только прохудилась. Нехай, это мы быстро залатаем...

Мать неожиданно мотает головой, с напряжением улыбается, берет себя в руки, говорит повелительно:

– Не беспокойтесь, Зинаида, я уверена, что нам все понравится. Диме необходим свежий воздух, фрукты... Да и Владимир... – Она чуть запинаятся, но затем продолжает ровно, спокойно: – ...когда вернется, будет рад отдохнуть в деревне.

– Когда вернется? – переспрашивает Зина, зорко глянув на мать. – А когда вернется?

– Вот когда вернется, тогда и вернется, – обрывает та. Зина сокрушенно качает головой, поджимает губы, за-

тем снова бросается к сумкам.

— Ну да что же? Пора и в вагон проходить...

Она берет тяжелый чемодан, волочет его за собой, о чем-то шумно спорит с проводником. Дима оглядывается по сторонам и видит мороженика, ловко захватывающего металлической ложкой шарики пломбира и шлепающего их между двух круглых вафель.

— Ма-а-ам, — ноеет Дима. — А мороженое-то... Ты обещала!

— Мороженое? — В пестрой вокзальной толпе мать замечает торговца мороженым. — А, конечно... Сейчас принесу.

Зина уже обосновалась в купе, заняла полки и теперь выглядывает из окна, сурово следит за своими подопечными.

— Зачем вам бегать-то? В ногах правды нет, — выговаривает она матери. — Проходите уж, а я принесу.

— Зина, да господь с вами. Что, меня утащит кто-то, что ли? — раздраженно возражает мать. — Расставляйте пока вещи, я сейчас вернусь.

Дима, стоя у дверей вагона, смотрит, как мелькает в толпе ее белое платье. Вот она уже у мороженика, протягивает ему монетки, тот вручает матери возделенный белый шарик. Дима сладко облизывается, предвкушая удовольствие.

Вдруг из-за угла здания вокзала появляются двое в светлых летних костюмах. Дима раньше никогда этих людей не видел, однако в горле у него почему-то пересыхает. Он су-

дорожно хватается за никелированный поручень. Рядом, почуяв испуг хозяина, глухо ворчит Тим.

Мужчины подходят к матери, говорят ей что-то, подхватывают под руки и почти отрывают от земли. Мать, сразу как-то ссутулившись, сгорбившись, покорно следует за ними. Мороженое, выпав из ее руки, чавкает под ботинком одного из незнакомцев.

Дима потерянно опускается на железную ступеньку вагона, нагретый на солнце металл яростно жжёт ноги. Тим принимается хрипло лаять, и один из мужчин, держащих под руки мать, озирается. И Дима мгновенно, словно повинувшись какому-то прежде незнакомому, недавно приобретенному инстинкту, зажимает псу пасть рукой, вталкивает его в вагон и прячется за зеленой дверью тамбура. Дима видит сквозь пыльное, захватанное пальцами окошко, как исчезает за стеклянными дверями белое платье матери.

Дима тяжело, прерывисто дышит. Он хочет заплакать, но слезы лишь давят где-то в горле, не желая проливаться. Тим шершавым розовым языком лижет его щеку. В вагон входят люди, бородатый дядька в соломенной шляпе прикрикивает на мальчика:

– Чего расселся здесь, на проходе? Зайцем хочешь проехать, что ли?

Дима с трудом поднимается, разминая затекшие коленки. И тут же прибегает Зина. Должно быть, тоже в окно

видела, что произошло.

— Чего орешь на ребенка, оглоед! — сварливо кричит она на мужика.

И, обняв Диму за плечи, не говоря ни слова, ведет его в купе, сажает на застеленную полку, рядом на полу пристраивается Тим. Зина закрывает дверь купе, опускает штору на окне, садится рядом с Димой и приговаривает, прижимая к своему плечу голову мальчика:

— Батюшки светы, маленький! Мы с тобой ничем уже не поможем... ничем, кораличек мой!

По экрану побежали серые штрихи, стрекотание киноаппарата затихло, и слышно стало, как завозился в проекторной киномеханике, доставая другую катушку с лентой.

Аля, только сейчас почувствовав, как затекла спина, расправила плечи, потянулась. До сих пор она неотрывно смотрела на экран, забыв на время, где находится. Увиденное ее поразило. О тех временах не принято говорить вслух. Конечно, ей доводилось читать самиздат, по общежитию ходили время от времени замусоленные слепые перепечатки, и все студенты мнили себя немного диссидентами, когда шепотом рассказывали во время очередной пьянки политические анекдоты. Но чтобы вот так, на большом экране, открыто... Аля посмотрела на Дмитрия Владимировича. Он сидел, облокотившись на столик и сжав руками голову. Каким же отважным должен быть этот человек, раз решился показать такое. Каким бесстрашным, смелым. Тем более картина ав-

тобиографическая. Значит, пережив этот ужас, смог побороть его в душе, превозмочь и стать сильнее. У Али перехватило дыхание.

Завозились на своих местах и чиновники.

– Да, Дмитрий Владимирович, удивили... – протянул пухляк.

– Вы, Иван Павлович, может быть, весь материал посмотрите, а потом и поговорим, или этого достаточно? – резко спросил Редников.

– Посмотрим, посмотрим, не беспокойтесь, – протягивал вертячий.

Иван Павлович лихо опрокинул стопку коньяку, закусил лимоном и, скривившись, произнес:

– Продолжаем просмотр.

*Над колхозным полем занимается раннее утро. Небо начинает чуть светлеть над горизонтом. В темнеющем за кромкой поля лесу верещат звонкоголосые птицы. Блестят капли утренней росы на колосьях. Вдали, в овраге, клубится седой утренний туман.*

*На тропинке, ведущей вдоль поля, появляется Дима. Он сильно вытянулся, повзрослел. В лице меньше детской наивности, оно серьезнее, сосредоточеннее. Дима чуть хмурит брови, щурясь на первые лучи солнца.*

*Навстречу парню из-за кустов выходят трое деревенских мальчишек. Двое Диминого возраста, один – белобрысый, в продранной майке – постарше. Мальчишки преграждают*

Диме путь, старший, стоя в центре, сквозь зубы сплевывает под ноги. Вид у ребят воинственный, однако Дима их не боится. Они не вызывают в нем ощущения животного ужаса, необратимости, покорности. Нет, они свои, такие же, как и он, с ними можно драться. И даже, по возможности, победить.

— Куда попер, москаль паришвый? — начинает старший.

— Дай пройти, Василь! — огрызается Дима.

Завязывается обычная перепалка: ты кто такой, а ты кто такой? Мальчишкам, кажется, больше охота позадираться, чем лезть в драку по-настоящему. Утро слишком красивое, слишком тихое, ленивое. На поле опускается сонное марево занимающегося жаркого летнего дня. Вдруг один из парней бросает случайно пришедшую на язык фразу:

— Я б тебя поучил, да руки марасть неохота. Мать-то говорила, батя у тебя — враг народа... И ты такой же, вражина!

И все в одно мгновение меняется. Дима закусывает губу, на его скулах вздуваются желваки, судорожно стиснув кулаки, он яростно бросается на обидчика, цедя сквозь стиснутые зубы:

— Мой папа не предатель, он коммунист!

Василь угрожающе наступает на мальчика. Дима начинает непроизвольно пятиться — ему еще никогда не приходилось драться с таким взрослым и сильным противником. Сузив в змеиную щелочку глаза, Василь замахивается на Ди-



*му:*

*– На-кась, выкуси, вражеская морда!*

*Дима и сам сразу не понимает, что произошло. Золотисто-коричневый вихрь, метнувшись от старого поваленного дуба, рвется вверх и катится по траве, увлекая за собой ошалевшего от испуга Василя.*

*– Хлопцы! Волк! Помогите! – хрипит полузадушенный обидчик.*

*Дима, проворно вскочив на ноги, свистит:*

*– Тим! Ко мне!*

*Тим будто нехотя выпускает разорванные штанины Василя и плетется к Диме с виноватым видом – дескать, сам видишь, хозяин, не удержался. Дима берет пса за ошейник. Деревенские ребята расступаются, пропуская Тима и его хозяина. Василь, обиженно сопя и ругаясь шепотом, пытается разглядеть порванные брючины.*

*– Попадешься ишию, москаль паршивый, – фыркает он. – А пса твоего на березе подвесим.*

*Дима останавливается, резко оборачивается к Василю, лицо его от ненависти белеет:*

*– Что? А ну повтори, что сказал!*

*Тим становится в стойку. Противники уже готовятся начать бой по второму кругу, как вдруг над самой кромкой леса появляются бликующие на солнце точки. Приближаясь с глухим, непрерывным гулом, точки превращаются в невиданных гигантских металлических птиц.*

Василь, задрав голову кверху, шепчет:

– Гляди-кась. То ж самолеты.

Все ребята вслед за ним поднимают головы.

Мальчишки заинтересованно смотрят вверх, затем оглядываются друг на друга. Самолеты пролетают в сторону деревни, и ребята видят, как из них начинают сыпаться какие-то странные чурбачки.

– Что это? – вслух произносит Дима.

Тим, усевшись рядом с мальчишками, смотрит на самолеты с таким же недоумением. Вдруг Василь, смекнув что-то, как самый старший, отчаянно орет:

– Ребзя, ложись! Ложи-и-ись!

И, не дождавшись реакции, с силой валит сидящего рядом Диму на землю и сам падает навзничь.

И тут же грохочет взрыв, потом второй, третий... Все небо исчерчено серыми полосами гари. Сквозь стрекот винтов слышен скрежет открывающихся бомболюков. Темными фонтанчиками вздымается земля. Вспыхивает край леса, в который угодила бомба.

Мальчишки лежат на земле, прикрыв головы руками. Сбросив бомбы, самолеты разворачиваются и улетают. Ребята несмело поднимаются, оглядываются по сторонам и, забыв о драке, не сговариваясь, бросаются врассыпную. Тим поспекает за мчащимся по полю Димой.

Волнуется под утренним слабым ветром поле, клонятся тяжелые, налитые солнцем колосья, мелькают в дымном

мареве вихрастые мальчишеские головы, слышатся крики:  
– Война, хлопцы!

Бегающий впереди Василь неожиданно запинаясь и падает навзничь. Поравнявшись с ним, Дима видит, что Василь, наливаясь синеватой бледностью, хватая ртом воздух. По его рубашке возле правого плеча разливается красное пятно. Дима, не останавливаясь, пробегает мимо, затем возвращается, подхватывает недавнего противника под мышки и, тяжело отдуваясь, волочет его к деревне.

Дима в перепачканной кровью и землей рубашке несет по деревне, врывается в избу, влетает в чисто выметенную деревенскую горницу. Бросается к столу, чуть не свалив с него кастрюлю с вареной молодой картошкой, посыпанной укропом. Мечется по комнате, задевая плечом полки с расставленными на них глиняными мисками и горшками, кричит:

– Зина! Зина! Где ты! Я такое видел, Зина!

Из дальней комнаты появляется Зина, в руках у нее вышитое полотенце. Губы старой няни скорбно сжаты, покрасневшие глаза смотрят на мальчика так, словно Зине физически больно от того, что она сейчас скажет.

Подойдя к Диме, она обнимает его и произносит куда-то ему в плечо:

– Война... Война, светушко! Я давно живу на свете, уж видала такое. Беда, маленький, беда. Война!

Сквозь окно видно, как бегут по улице деревенские, оста-

навливают друг друга, делятся страшной новостью.

Дима стоит у окна и смотрит на улицу. Улица пустынная, вдоль покосившегося, щербатого плетня едет немецкий открытый джип, в кабине два офицера в нацистской форме.

Лукавая и чуть настороженная собачья морда выглядывает из кустов боярышника. Еле слышно, по-волчьи ступая, Тим крадется к дому, держа в зубах только что пойманную утку. За месяцы тяжкого, выворачивающего нутро голода умный пес пристрастился к охоте. Вот и сейчас он молниеносно настиг свою добычу в камышовой заводи.

Увидев его, офицеры притормаживают, один из них перевешивается из машины и хочет погладить собаку. Тим, оскалившись, глухо рычит, фашист хохочет, обнажая крепкие белые зубы.

Дима выскакивает из дома. Теперь видно, что он тоже сильно переменился за это время. Он бледный, изможденный. Детская припухлость полностью сошла с его лица. Выступили высокие скулы, темные, когда-то искрящиеся смехом глаза глубоко запали. Понятно, что мальчик голодает. Бежит он с трудом, ноги плохо слушаются его.

Дима останавливается напротив немецкой машины. Тим подбегает к нему, радостно демонстрируя добычу. Дима машинально берет у него утку, не отрывая ненавидящих глаз от черного джипа. Белозубый офицер обращается к нему:

– Малчик. Стоять здесь. Я покупать твой собак! – Заги-

бая пальцы, он начинает перечислять сокровища, которые обретет Дима, продав собаку. – Много хлеб, тушенка – айн, цвай, драй – три банка. Нет, пять! Пять банка тушенки за твой собак!

Дима, судорожно сжимает кулаки, свирепо смотрит на офицера, цедит сквозь зубы: «Не продается!» – и, от-  
вернувшись, направляется к дому. Обескураженный немец краснеет от злости, яростно хватается за кобуру, но второй офицер останавливает его, махая в сторону уходящего Димы рукой – пусть, мол, идет, доходяга, сам от голода подохнет, и овчарка бесплатно достанется, не надо будет тушенку тратить. Довольные, офицеры звонко хохочут, белозубый нажимает на газ, и машина уезжает, подняв за собой шлейф серой пыли. Мальчик смотрит ей вслед, сжав зубы, сплевывает на дорогу и говорит яростным шепотом:

– Чтоб вы сдохли!

Потрепав Тима по загривку, Дима идет к дому, поминутно озираясь, проверяя, не заметили ли соседи их возвращения.

Дима входит в дом. За ним трусит Тим. Собачью добычу Дима аккуратно кладет на табурет и, проходя мимо, гладит Тима по голове, бормоча:

– Хороший пес, молодец! Супу наварим. Вот Зина обрадуется. Совсем она у нас с тобой слабая...

Дима отдергивает грязную вылинявшую занавеску, за которой открывается лежанка. На смятой пестрой подушке

лежит Зина. Лицо ее страшно – глаза глубоко запали, торчат под истончившейся кожей скулы, она едва улыбается Диме бледными синеватыми губами.

– Зинушка, ты поспала? – обращается к ней мальчик и, склонившись, целует няню в пергаментного цвета лоб. – А Тим-то у нас дичь добыл, представляешь? Ты мне объясни, как оципать, а я сварю.

Но Зина не слышит его, глаза ее лихорадочно блестят, она силится поднять чудовищно тонкую, перевитую ярко выступившими венами руку.

– Ох, беда, беда, как же ты один будешь, Димка? – бормочет она. – Ты меня послухай, светушко! Уходи из деревни, сейчас уходи. В лес, к партизанам, куда дойдешь...

Дима пытается возражать, но она торопится сказать все, что задумала, пока силы не изменили ей:

– Я умру скоро, и Петруси эти окаянные, соседи наши, узнают, что нет меня, придут за Тимкой, изрубят его и съедят... Как бы и самого тебя...

– Зина, что ты? Жар у тебя, что ли? – пугается Дима. – Погоди, я тебе водички принесу.

Зина тонкой синевато-бледной рукой хватается за запястье, останавливает, шевеля губами из последних сил:

– Ты ничего не бойся, Димушка. Ничего не бойся! Мы их одолеем, проклятых. Потому что за нами правда. За нами, а не за ними. Ты это помни и ничего не бойся. Ты выдержишь и будешь жить долго-долго. И счастливо!

Обессиленная, Зина откидывается на подушку, лицо ее сereет, глаза еще больше западают. Дима убегает в угол комнаты, садится на пол, обхватив голову руками. Тим ластится к хозяину, пытается лизнуть его в щеку, мальчик обнимает собаку за шею.

Постепенно в горнице темнеет, наступает ночь. Тим поднимает голову и начинает тоненько, заунывно подскуливать. Дима проходит по дому, закрывая ставни, заглядывает к Зине, несколько секунд стоит молча, видно только, как дрожит, вцепившись в край занавески, его рука, затем он едва слышно свистит Тиму и выходит из дома. Собака плетется за ним.

Дима и Тим выходят из леса, оставив там свежий холмик земли. Тим жметя к мальчику. Дима машинально гладит его голову ослабевшими пальцами.

Мальчик и овчарка выходят на деревенскую улицу, приближаются к дому. Еще издали Дима замечает, что дверь дома болтается на одной петле и тревожно хлопает на ветру. Он останавливается. Тим, присев на задние лапы, глухо ворчит, затем, по-волчьи крадучись, прижав уши, пробирается в дом. Дима затаив дыхание ждет возвращения верного друга. И вскоре собака появляется в дверях, хрипло рыча. Дима проходит в хату и останавливается на пороге.

Здесь все перевернуто – хрустят под ботинками глиняные черепки, кружатся в воздухе перья вспоротой перины, даже половицы кое-где оторваны с мясом. Вид разгромлен-

ной комнаты угнетающе действует на мальчика. Он медленно садится на пол, растерянно перебирает пальцами черепки. Тим носится по комнате, принохливается, рвется в дверь, но мальчик его не пускает:

– Тише, Тимка, тише... Никого нам уже не поймать. Уходить надо, Зина права была... Только как? Через лес не проберемся – немцы...

Тим пристально смотрит на хозяина внимательными, все понимающими глазами. Дима делает Тиму знак, и они выходят во двор.

Дима бесшумно проходит по двору, указывает Тиму на чердачное окно и с трудом приставляет к этому окну деревянную садовую лестницу. Он отдает четкие резкие команды, как когда-то в незапамятные времена еще в Москве, когда дрессировал щенка на специально оборудованной собачьей площадке. Не добившись результата, мальчик берет Тима на руки, толкает его вверх. Пес не может понять, чего от него хочет хозяин, рвется из рук. Дима отпускает его, поднимает с земли утку, зашвыривает ее в узкое чердачное окно. Тим понимает, чего от него добиваются, и с Диминой помощью вскарабкивается по лестнице в окно.

Дима поднимается по лестнице, останавливается, свеивается через лестничную перекладину, тяжело дышит. Наконец, сделав последнее усилие, с трудом переваливается через оконный проем и отталкивает лестницу. Лестница падает.



Тим, забившись в угол чердака, потрошит утку. Дима шарит в темноте, натывается на большой мешок, просовывает в него руку и вытаскивает на свет горсть остро пахнущих листьев. Табак! Он сует листья в рот и растягивается на полу. Неожиданно с улицы доносятся приглушенные голоса, Дима подползает к чердачному окну и, прячась, выглядывает на улицу.

Две тени бесшумно мелькают во дворе дома. Чуть скрипит дверь – это один из непрошенных гостей проскользнул в горницу. Второй топчется во дворе, нетерпеливо озираясь по сторонам. Тим, услышав шум, принимается глухо ворчать, и Дима наваливается на него всем телом, зажимая ладонью пасть.

Затем первый возвращается, со двора доносится отрывистый шепот:

– Зинка, кажись, преставилась...

– А малец где?

– Да провалился куда-то. Ни псины, ни пащенка.

– Вот стервец! Сам небось своего кобеля схавал да и дал деру. Ищи его теперь...

Две неясные тени движутся по улице и растворяются в темноте. Дима обессиленно откидывается и закрывает глаза. Невыносимо, мучительно хочется спать. Но спать нельзя, нет, придут, найдут... Веки становятся тяжелыми, липкими, звенящая голова клонится к полу. Дима засыпает.

Но вот его снова будят приглушенные голоса. Дима слышит легкое шуршание – кто-то приставляет лестницу, чтобы взобраться на чердак. Напрягая остаток сил, обливаясь холодным потом, мальчик ползет к перекладине, за которой можно спрятаться и, оставаясь незамеченным, посмотреть, что делается внизу. Тим приникает к окну, пытается скулить. Дима, выпростав из-под себя правую руку, зажимает псу пасть:

– Тише, Тимыч, мы им так просто не дадимся.

Мальчик перевешивается через перекладину и тут же в ужасе отшатывается. Все его существо охватывает парализующий страх. Прямо на него смотрит человек – веснучатый, курносый, заросший клочковатой рыжей бородой и наверняка ужасно голодный. И Дима выговаривает тонким, вмиг осипшим голосом:

– Только собаку мою не ешьте. Пожалуйста!

– Фью, – свистит парень. – А ну-ка, братушки, давайте-ка выбираться отсюда. – И, поймав дикий Димкин взгляд, смеется весело: – Свои мы, не бойсь, партизаны!

Дима, не в силах поверить в спасение, смотрит на парня. Голова его кружится, в ушах грохочет собственное сердце, перед глазами начинают мелькать черные мухи, и мальчик проваливается в тяжелый удушливый обморок.

В доме Диму угощают двумя сухарями. Мальчик, присев на пол, сует один сухарь Тиму, другой грызет сам, стараясь подольше поддержать во рту, не проглатывать сразу крош-

ки драгоценного хлеба. Партизаны, сидя кружком на полу, о чем-то шепчутся. Дима различает слова «офицера бы поймать». Неожиданно в памяти встает белозубо хохочущий немец на черном джипе. Дима откашливается и храбро произносит:

– Я знаю, как выманить офицера.

Слова его встречают смехом, начинают подтрунивать над ним.

– Ты, хлопец, – говорит бородатый Никита, его спаситель, – вроде и верно тогось.

– От голода и ты бы тогось, – одергивает его другой партизан.

– А вы послушайте сначала, – обижается Дима и полупшепотом начинает выкладывать свой план. Лица бойцов постепенно становятся серьезными. Они внимательно слушают, и кое-кто даже кивает.

Дом, где находится немецкая комендатура, Дима знает хорошо. Он давно уже стоит перед воротами, дожидается белозубого офицера. Ему отчаянно страшно, видно, как время от времени судорожно подергиваются его плечи. Но Дима помнит завет Зины: «Ничего не бойся. Правда на нашей стороне». И он храбрится, сжимает кулаки, цедит сквозь зубы:

– Дождетесь, фрицы проклятые!

Наконец офицер выходит, прищурившись, смотрит на мальчика, узнает и расплывается в ухмылке:

– Продавать собак?

Дима горячо кивает и тащит офицера вниз по улице, к своему дому. Тот едва успевает за ним.

«Ничего, немчура, – думает Дима. – Ты только дойди... Мы еще посчитаем твою тушенку».

Неожиданно ему приходит в голову, что офицер может что-нибудь заподозрить, и мальчик начинает расписывать достоинства собаки:

– Хороший собак. Дер хунд! Злой! Пойдемте!

– Яволь, – лыбится офицер.

Затем, подозрительно вскинувшись, останавливается:

– Ты кормить собак? Он не голодать, не умирать?

Дима яростно качает головой, убеждает:

– Он еще сильный, вы не думайте! Его бы чуть откормить только. Он здоровый, оклемается.

Офицер в сомнении топчется на дороге, хочет уйти. Дима в отчаянии делает решительный шаг.

– Не хотите, не надо, – с деланным равнодушием бросает он. – У меня еще приятель ваш про собаку спрашивал...

Офицер хватает мальчика за рукав рубашки, резко дергает. Старая застиранная материя с треском рвется, оторванный рукав болтается на худой Диминой руке.

– Стой! – хищно оскалившись, командует немец. – Я покупать собак, я сказал. Веди!

Они подходят к дому, из-за дверей доносится слабый лай Тима. Офицер, довольно потирая руки, открывает дверь

и входит в дом. В ту же секунду в темноте комнаты на него набрасываются партизаны. Один зажимает немцу рот, чтобы не кричал, другой валит его на пол, третий вяжет руки. Работают они быстро, слаженно. Видно, что это не первый «язык», которого им удалось взять. Дима стоит, прислонившись спиной к двери, переводит дыхание. Рядом с ним умными глазами наблюдает за происходящим Тим.

Связав офицера, Никита быстро командует:

– Уходим через задний двор и дальше, через болото.

Бесшумные, почти невидимые в темноте, бойцы выкалывают из дома, двое волокут на себе связанного врага. Никита идет последним. Дима, не говоря ни слова, смотрит им вслед. Ну, ему теперь не жить, это ясно. Вся деревня видела его у комендатуры. Что ж, все равно умирать. Зато отдал свой долг стране, Родине. Он медленно опускается на пол.

– А ты шо ж встал як вкопанный? – удивляется Никита. – Давай, попевай за братушками!

Дима вскакивает, недоверчиво смотрит на Никиту, расплывается в счастливой улыбке и, схватив Тима за ошейник, спешит вслед за партизанами.

Экран снова погас. Аля выпрямилась на стуле, закашлялась, попыталась разогнать рукой плавающий в воздухе сигаретный дым. Дмитрий Владимирович обернулся, смял в пепельнице папиросу, встал, шагнул к окну и открыл форточку. И сразу донеслись со второго этажа отчаянные крики То-ни:

– Я видела, видела. Он в окно впрыгнул. Дмитрий, где ты?  
А следом увещевания Глаши:

– Антониночка Петровна, родная вы моя, успокойтесь!

Дмитрий Владимирович, поморщившись, сел на место.

Никита же, откровенно зевавший во время просмотра, вскочил с табуретки, свирепо покосился на отца и вылетел из просмотрового зала.

Иван Павлович, разомлевший от коньяка, ословелым взглядом обвел комнату, пытаясь понять, откуда идет этот раздражающий звук. Геннадий Борисович услужливо наклонился к нему и что-то зашептал в ухо.

– Обстановочка у вас тут, Дмитрий Владимирович, прямо скажем, не рабочая, – прогудел Иван Павлович.

Редников коротко взглянул на него, и чиновник неожиданно осекся, отвернулся, словно одним лишь взглядом Дмитрий дал понять, что обсуждать свои семейные вопросы не позволит никому.

Экран засветился, поплыли кадры нового эпизода фильма.

*Солнце яростно светит на улицах полуразрушенного Берлина. Оно отражается в уцелевших кое-где оконных стеклах, поблескивает на винтовках проходящих по улицам солдат, зайчиком прыгает по полотнищам развевающихся красных флагов.*

*Едет по улице грузовик, в кузове которого распевают под гармошку улыбающиеся советские солдаты. На углу*

из кузова выпрыгивают Никита и Дима – теперь уже высокий широкоплечий юноша с пробивающимися над верхней губой усиками. За ними выскакивает и верный Тим. Друзья идут по улице, Никита обнимает Диму за плечи, улыбается широкой, хмельной то ли от весеннего солнца, то ли от счастья улыбкой и тянет:

– Эх, не думал, что доживем до дня до этого. Не думал...

– А я никогда и не сомневался, что доживем! – запальчиво возражает Дима.

– Ты молодой ишь, – качает головой Никита. – И война-то для тебя – так, игрушки... да и повезло – три года с нами партизанил, а ни одного фрица застрелить не пришлось. Вот когда он стоит перед тобой, зенками своими совиными хлопает, дышит, а ты его бац – и нету поганца. Это, знаешь, посильнее, чем тропинки минировать, сильно по котелку бьет.

Никита на мгновение мрачнеет, потом машет перед лицом ладонью, снова мечтательно улыбается:

– Эх, а заживем-то теперь, а? Варюха-то моя поди заждалась. Четыре года, как из дома ушел, соскучилась девка. Вернусь вот, свадьбу сыграем... А ты, Димка, что делать будешь дома, а?

Дима хочет поведать другу о давней своей, детской еще мечте, зародившейся много лет назад, когда сидел он вечерами на скамейке летнего кинотеатра между матерью и отцом и, затаив дыхание, следил за разворачивающимися

ся на экране волшебными историями. Хочет признаться, что мечтает сам, своими руками делать кино, создавать для людей, уставших от грязи и ужасов войны, волшебные сказки, когда откуда-то сбоку, из развалин многоэтажки, щелкает выстрел.

И Никита вдруг замирает на полуслове, хватается за грудь и растерянно смотрит на красную жидкость, сочащуюся между пальцев. Он судорожно хватается губами воздух и медленно оседает на асфальт. Лицо его бледнеет, глаза остекленело смотрят на развевающийся на ветру красный советский флаг.

Дима, оторопев, глядит на друга, который еще секунду назад рассуждал о счастье и планировал, как заживет теперь со своей Варюхой. А Тим уже рвется с поводка, впрыгивает в подвальное окошко полуразрушенного дома. И Дима, не успев собраться с мыслями, влезает за ним.

Дима бежит по коридору заброшенного дома, перепрыгивает через поваленную мебель, на бегу распахивает ногой двери. В одной из дальних комнат видит лежащего на полу солдата в немецкой военной форме. Верный Тим навалился на него, держит зубами за горло, не давая подняться, но не сжимает челюсти, ждет команды, оглядывается на хозяйина.

Дима вырывает из кобуры пистолет, прицеливается, но не может заставить себя выстрелить. Кисть его дрожит, и он удерживает скачущий локоть другой рукой.



Немец, воспользовавшись Диминой слабостью, заводит свободную руку за спину, незаметным движением достает из-за пояса пистолет, целится в голову собаки. Увидев это, Дима мгновенно нажимает на курок. Голова немца глухо бьется об пол, под безжизненное туловище подтекает лужа алой крови.

Дима продолжает стоять, вытянув руку с пистолетом, другой судорожно ухватившись за собственный локоть, смотрит на содеянное, зрачки его расширяются от ужаса.

– Это все, – обернулся к чиновникам Дмитрий Владимирович. – Остальные эпизоды пока не смонтированы.

– Ничего, мы с Геннадием Борисовичем уже обрисовали, так сказать, себе полную картину, – вальяжно протянул из кресла Иван Павлович.

– Да-а-а, – подобострастно закивал Геннадий Борисович. – Не зря сигнал поступил, ох не зря...

– Что ж, давайте поговорим, товарищи, – помрачнев, ответил Редников. – Прошу, пройдемте в кабинет.

Иван Павлович, переваливаясь, выплыл из зала. За ним засеменял Геннадий Борисович. Редников прошел следом, и Аля осталась одна.

Аля долго еще сидела в темном зале, сжимала руками голову, терла ладонью лоб. Сердце колотилось как бешеное, стучало в груди, билось о ребра. И почему-то одновременно хотелось подпрыгнуть высоко-высоко, закричать, захохотать и тут же упасть навзничь и заплакать.

«Что с тобой, чокнутая? – спрашивала себя Аля, стараясь успокоиться, прийти в себя. – Что происходит?»

Если уж совсем честно, что происходит, она догадывалась. Было уже такое. Было после девятого класса, когда на каникулах в трудовом лагере в Крыму крутила роман с Костей-вожатым. Было на втором курсе, когда чуть не вышла замуж за аспиранта Воронцова. Всегда вначале появлялось это вот ощущение – сердце подпрыгивает, как будто несешься на санках с крутой снежной горки. Но вот так сильно, чтобы не могла взять себя в руки, чтобы сидела в темноте и била себя кулаком по лбу, как безумная, такого не случалось. И страшно было подумать, признаться себе, отчего это с ней – здесь, сейчас. И мелькали перед глазами яркие вспышки: темная от загара рука берет ее за запястье, помогая спуститься с платформы, черные смеющиеся глаза на спокойном невозмутимом лице, застывшая напряженная фигура перед экраном...

Из-за маленькой дверцы высунулся киномеханик и с

удивлением поглядел на Алю.

– Извините!

Она решительно вскочила со стула, вышла на пустую веранду, села к столу и достала из сумки общую тетрадь в коричневом кожаном переплете. «Надо заняться очерком, заняться очерком...» – стучало в голове. Аля на секунду остановилась, потерла кончиком ручки лоб, сосредоточиваясь, и принялась быстро записывать. Ровные строчки побежали по бумаге.

*«Можно ли судить Мастера по обычным человеческим законам? Должен ли он подчинять свою жизнь устоявшимся общественным нормам: заботе о близких, беспрекословному выполнению задач, поставленных перед ним начальством, приумножению благосостояния? Или задача его несоизмеримо шире – достучаться до каждого человека, донести скрытую от глаз правду, разбудить в людях глубоко запрятанные чувства? И не может он разменивать свой талант на бытовые мелочи?»*

Аля на секунду остановилась, перечитала написанное, зачеркнула слово «Мастера» и вписала поверх «гения». Словно вторя ее мыслям, из дома донесся голос Редникова:

– И все-таки я настаиваю... Это история моей страны, моего народа, в конце концов, это моя история. И я ни на йоту не отступил от правды, от того, что видел собственными глазами. Без этих сцен картина потеряет...

Его перебил тягучий ленивый басок Ивана Павловича:

– Дмитрий Владимирович, о чем вы говорите! Вы тут нам антисоветчину лепите, прикрываясь красивыми словами... Нет уж, позвольте, я на себя такую ответственность брать не могу.

Дребезжащим голосом вступил Геннадий Борисович:

– Да-да, вопрос будет решаться наверху. Поговорим в другом месте и при других обстоятельствах.

*«И сколько же иногда нужно мужества, сколько непоколебимой отваги, чтобы преодолеть все преграды и донести свою правду до человечества, – продолжала писать Аля. – Сколько сил нужно положить на борьбу с внешними обстоятельствами. Поневоле не останется возможности обращать внимание на личное, мелкое, преходящее. Отсюда, наверное, и идет миф о небывалой черствости и жестокости гениев».*

На веранду, блестя свекольно-красным то ли от праведного гнева, то ли от коньячных возлияний лицом, выкатился Иван Павлович. Он бросил взгляд на Алю, быстро прикрывшую локтем написанное, буркнул что-то неразборчивое и протопал к выходу. За ним спешил, держа в руках кипу отпечатанных на машинке листов, Геннадий Борисович.

– Вот мы посмотрим, сравним первоначальный утвержденный сценарий с тем, что вы тут... натворили, – визгливо бросил он появившемуся на пороге Редникову.

Дмитрий Владимирович спокойно развел руками, словно говоря: «Ваше право». Геннадий Борисович, свирепо оска-

лившись, выскочил за дверь. Взревел во дворе мотор, и через минуту все стихло.

Дмитрий, нахмурившись, отошел к окну, взял с подоконника папиросы, закурил и, обернувшись к столу за пепельницей, только теперь увидел Алю.

Девушка смотрела на него не мигая, и было в ее взгляде что-то необычное, слишком откровенное, открытое и вместе с тем глубоко женское. Редников невольно приподнял брови, словно спрашивая: «Что-то не так?» И Аля, качнув головой, опустила глаза.

Редников кашлянул, взял со стола пепельницу, переставил ее на подоконник и обратился к Але:

– А вы, Аля, что скажете?

Аля быстро отозвалась:

– Я... Я не знаю... У меня внутри все перевернулось как будто. Я слышала о тех временах, читала... Но чтобы вот так, с экрана... Неужели так все и было?

– К сожалению, да, – кивнул Дмитрий.

Аля поднялась из-за стола, прошла по веранде, продекламировала как бы про себя: «Мы живем, под собою не чуя страны...»

Дмитрий исподлобья смотрел на движущуюся по комнате тонкую фигурку в белом сарафане. Вот она прошла мимо совсем рядом, и от нее повеяло чистой речной водой, солнцем, степными травами. Задела рукав его рубашки, вздрогнула, быстро взглянула ему в лицо и отвернулась.

«Красивая, – отметил он про себя. – Но и какая-то странная. Странная и как будто беспокойная, что ли».

– Но почему? Почему они сами шли... Так обреченно, как на заклятие? Ведь можно было бороться, сопротивляться? – резко спросила вдруг Аля.

Редников снисходительно усмехнулся:

– Понимаете, они верили... Человек должен во что-то верить, иначе он мертв. Иногда проще бывает сдаться, чем признаться себе, что ты ошибался, что все, во что ты верил, все, что любил, все, что когда-то было дорого, на самом деле лживо и уродливо.

Аля внимательно слушала его, сдвинув золотистые брови, несколько раз кивнула, соглашаясь, и вдруг быстро спросила:

– Дмитрий Владимирович, а вы во что верите?

– Я? – опешил Редников.

Вопрос показался ему слишком личным, не очень-то подходящим для студенческого очерка. Он обернулся к окну, посмотрел на освещенные солнцем ветки яблони во дворе. Одно недозрелое крохотное зеленое яблочко упало на подоконник, и сейчас вокруг него смешно прыгал воробей.

«Во что вы верите?... Хороший вопрос на пятом десятке жизни... Что ей ответить? Показать себя престарелым напыщенным болваном как-то не хочется...»

– В искусство, в профессию, в свою страну, в народ, в правду... В любовь, в конце концов. В нормальные веч-

ные человеческие ценности. Их не так уж мало, как видите. Еще верю, что вы напишете замечательный очерк и Ковалев будет вас хвалить и назначит повышенную стипендию.

От его слов Аля словно пришла в себя, стряхнула опеченение, вернулась к столу, стала быстро забрасывать вещи в сумку, прощаться.

«Ну вот, расстроил девочку, – решил Редников. – И о кино поговорить не удалось. Пожалуй, надо еще раз с ней встретиться. Пускай действительно хороший очерк напишет. Славная девчушка. И смотрит такими глазами...»

– Знаете что, Аля, – предложил он, прощаясь. – Приезжайте-ка вы ко мне на съемочную площадку. Там своими глазами и увидите, как снимается современная антисоветчина.

– Ой, это было бы здорово! – Лицо ее осветилось улыбкой. – А можно?

– Ну конечно, – кивнул Редников. – Давайте хотя бы завтра. Приезжайте прямо сюда к десяти утра. За мной машина придет, вот вместе и поедem.

– Тогда до свидания, – обернулась Аля уже от дверей. – До завтра!

Никита давно уже дежурил у ворот дачи, поджидая, когда наконец появится их утренняя гостья.

«Чувиха что надо, – это он сразу отметил. – Правда, с характером. Ну ничего, мы ее пообломаем. Преподнести, что ли, ей флакон «Magie Noire»? Что-нибудь типа: «Маде-

муазель, еще в далеком Париже я видел вас во сне и приобрел эту безделицу для вас...» Духи, правда, для Таньки вез... Да ну ее, еще в прошлом году надоела. А папеч-то хорош! «Познакомься, Аля, студентка...» Сам-то только и ждет, чтобы вокруг крутились юные поклонницы и в рот ему заглядывали. Надувается от удовольствия, как индюк. Очерк о нем приехали писать, «гениальный Редников, нестареющий кумир молодежи»... Хоть бы матери постыдился! Мало она из-за него мучилась?»

Никита помрачнел и яростно втоптал в землю окурок «Голуаза». И тут на дорожке появилась Аля. Никита, юркнув за дерево, выждал до последнего и выскочил прямо перед ее носом.

– Мое почтение, мадемуазель!

Аля вздрогнула от неожиданности, но посмотрела на него не сердито, а как-то равнодушно, словно и не замечая, как будто мысли ее были заняты чем-то совсем другим. Это Никите не понравилось.

– Ну как, папаша мой, великий и ужасный Редников, произвел неизгладимое впечатление? – развязно осведомился Никита.

– Произвел, – отрезала Аля.

– Ну еще бы, монумент! Роль человека в обществе! – насмешливо закивал парень.

Кажется, в этих словах прозвучало чуть больше злости, чем иронии. Аля попыталась обогнуть его, пройти к калитке,



но Никита снова преградил ей дорогу.

– Куда же ты спешишь, прекрасное дитя? Побудь еще немного со мной. Не будем забегать вперед, но ты мне уже нравишься.

Он попытался приобнять Алю за талию, но получил короткий хлесткий удар по руке и с комическим ужасом отдернул ладонь.

– А у меня интервью взять не хочешь, а? Или весь литературный талант на папочку ушел? Это ты зря... – протянул он. – Я тебе предлагаю эксклюзив – первое интервью восходящей звезды французского кинематографа.

– Думаете, если кепку модную к голове приладили, так сразу и звездой стали? – возразила Аля.

Она сорвала с его головы кепку. Кончики пальцев коснулись виска молодого человека – словно обожгли, и сердце застучало так гулко, что, казалось, она сейчас услышит.

– Верните головной убор! Он дорог мне как память! – заголосил Никита.

– Ловите! – весело крикнула Аля.

Она ловко подкинула кепку вверх. Плоский клетчатый блин взлетел к верхушкам кустов. Никита инстинктивно вскинул руки, а Аля быстро проскочила мимо него и, смеясь, скрылась за воротами.

Кепка шлепнулась в пыль, Никита подобрал ее и принялся с досадой выбивать о коленку.

День клонился к вечеру. Небо над лесом окрасилось баг-

ровыми полосами. Смолкли гудевшие в цветах шиповника пчелы. Вдалеке присвистнула, пробегая мимо, последняя электричка.

Уехал приезжавший к Тоне доктор, и Глаша отнесла ей наверх поднос с ужином.

Никита сидел на веранде, на подоконнике, свесив ноги на улицу, курил, поглядывая на дорогу. Под окном появился Дмитрий, в старых резиновых сапогах, растянутом свитере, с холщовым мешком в руках.

– Пойду собак покормлю, – объяснил он сыну. – Ты меня подожди. Я про твою знаменитую документалку послушать хочу.

– Да брось! – картинно отмахнулся Никита. – Что там интересного для гигантов советского кинематографа? Всего лишь первая премия среди студенческих работ.

– Зря ты, мне действительно интересно, – возразил Редников. – Жаль, что пленку не привез. Ну ничего, ты хоть фотографии подготовь, посмотрим.

Он обернулся, посмотрел из-под ладони на играющее красками небо и вздохнул:

– Закат-то какой... Что ж мы на сегодня-то съемку не назначили, такой режим пропадает.

Дмитрий прошел через двор, обогнул дом и вышел через заднюю калитку в овраг. Здесь его поджидали уже деревенские собаки. Редников вывалил из мешка остатки ужина, присел на корточки, потрепал одного пса по загривку, дру-

гому сказал что-то, улыбнулся.

Никита, дождавшись ухода отца, метнулся в комнату, выхватил из не разобранного еще чемодана конверт с фотографиями со съемок и засунул его поглубже во внутренний карман пиджака.

«Ну уж нет, – высказался он про себя. – Тебе, дорогой папá, пожалуй, фотки смотреть не стоит. Не твоего масштаба работа. И все-таки придется как-то отмазаться. Сказать, что потерял?» И Никита нервно забарабанил костяшками пальцев по деревянному подоконнику.

За забором застрекотал мотоцикл, остановился у ворот, и знакомый сиплый голос крикнул из-за деревьев:

– Никитос! Ты дома?

Никита так и подпрыгнул на месте от радости:

– Николя! Подожди меня! Лечу!

«Николя правильный чувак, вовремя подкатил, – подумал Никита. – Сбежать из дому и не попадаться папаше на глаза! Завтра у него съемка, а там, глядишь, он и совсем забудет про фотки. У гениев память короткая, у них дела и поважнее есть!»

Он приоткрыл дверь в дом, крикнул:

– Глаша, за мной Колька приехал, передай отцу, что я буду поздно, – и стремглав бросился через сад к воротам.

Режиссер Редников привык каждый день начинать с пробежки. Хорошо было плутать по извилистой лесной тропинке, вдыхая прохладный утренний воздух, чувствуя, как просыпается тело, как приятно тяжелеют мышцы. В эти полчаса он мог спокойно побыть наедине с собой, собраться с мыслями, распланировать время.

Дмитрий Владимирович выбежал из леса, свернул к своей даче и вошел во двор через заднюю калитку. Стянув на ходу футболку, он направился к металлическому рукомойнику, прибитому к стене дома, и, нагнувшись, принялся умываться. Холодные струйки воды приятно освежали разгоряченную кожу, катились по шее и спине. Редников с наслаждением расправил плечи.

Он потянулся за висевшим на крючке вафельным полотенцем и вдруг увидел Алю. Девушка стояла в глубине двора, у забора, и смотрела на Дмитрия не отрываясь. Редников неожиданно для себя смутился и прямо с полотенцем направился к ней.

Приехав раньше назначенного времени, Аля не решилась стучаться в мирно дремавший освещенный утренним солнцем дом и ждала во дворе, пока встанут хозяева. Она никак не думала, что столкнется здесь с Редниковым.

Девушка видела, как Митя, не замечая ее, прошел через

калитку к умывальнику, как набрал в ладони воды и широким жестом выплеснул ее себе на грудь. Поблескивавшие на золотистом утреннем солнце капли медленно стекали по мужественной шее, покрытой бронзовым загаром груди, развитому скульптурному торсу. Аля оцепенела, как будто перед ней стоял не обыкновенный земной мужчина, а олимпийский бог, ослепительный и неприступный. Митя сунул взъерошенную голову под кран, фыркнул, встряхнул густыми волнистыми волосами, обернулся и увидел ее.

Редников, признаться, совершенно забыл об Але, забыл, что пригласил ее сегодня на площадку, – заработался вчера, снова и снова просматривая отснятый материал. И вот теперь получилось неудобно.

Утреннее солнце осветило застывшую у забора девушку в бледно-зеленом шифоновом платье. И Митя словно впервые разглядел хрупкую и вместе с тем необыкновенно женственную фигуру Али. В этом платье цвета морской волны, со светящимися в солнечном луче светлыми волосами, она была похожа на диковинного лесного эльфа.

Он подошел совсем близко, улыбнулся приветственно:  
– О, это вы? Доброе утро!

И почувствовал запах ее тяжелых русалочьих волос – запах спелых яблок, теплой пшеницы и меда. Аля что-то отвечала ему – извинилась, что приехала раньше, объяснила, что боялась опоздать, пропустить электричку, – Митя уже не слышал. Ему вдруг представилось, что он резким, стре-

мительным движением освободит эти волосы из туго затянутого хвоста, и они распадутся, растреплются по хрупким плечам.

Солнце словно остановилось прямо над ними, обрушило поток яркого, жаркого света на их головы.

Аля прикрыла глаза узкой ладонью.

– Я, наверное, здесь, во дворе, подожду, – смутившись, предложила девушка.

Митя рассмеялся, отгоняя наваждение:

– Ну что вы, Аля, в самом деле. Немедленно проходите в дом. Дождемся машины и поедем.

Дмитрий оставил Алю на веранде, сам же поднялся в спальню, переоделся в светлый летний костюм, повязал галстук, критически оглядел собственное отражение в зеркале. Он, безусловно, неплохо выглядел. И седины совсем немного. Актрисы, конечно, вечно рассыпаются в комплиментах, да верить-то им нельзя, публика насквозь фальшивая. А эта девчушка, Аля, так смотрит, как будто... И ведь, кажется, ей от него ничего не надо: ни роли в новой картине, ни приглашения на кинофестиваль. Искренне смотрит, а это, как ни крути, приятно щекочет самолюбие.

Редников поглядел на часы. Машина должна скоро быть. Он поспешно спустился на первый этаж, предложил Але, сидевшей у стола, чаю. В доме было по-утреннему тихо. Тоня еще не вставала. Только слышно было, как на кухне бормочет что-то себе под нос Глаша.

Дмитрий Владимирович подошел к окну, вытащил папиросу из пачки, лежавшей на подоконнике, закурил. Дверь на веранду распахнулась, и с улицы появился Никита, сонный, помятый, пиджак весь в пятнах.

«Ночевал неизвестно где, — понял Редников. — А я и не заметил. Черт, надо будет заняться им как следует. Позже, когда с картиной прояснится...»

— Доброе утро! — бросил отцу Никита.

— Спокойной ночи, — съязвил Дмитрий.

Никита, щурясь от яркого солнца, снял пиджак и небрежно кинул его на стул — из внутреннего кармана вывалилась стопка фотографий.

«А, короткометражка его, наверное, — догадался Митя. — Надо посмотреть, пока время есть. А то обижается тоже, что мне его достижения неинтересны».

Дмитрий подобрал с пола фотографии и от первой же опешил. На снимке было изображено черт-те что — не мужик и не баба, какое-то отвратительное существо, наголо выбритое, с намалеванными губами, с массивными бусами на тощей обнаженной груди. На следующей фотографии то же существо сладострастно обнимало дюжего верзилу в ковбойской шляпе. Дмитрий Владимирович, брезгливо отодвинув фотокарточки подальше от себя, продолжал разглядывать: проститутки, наркоманы, изможденные танцовщицы — самое дно Парижа. Так вот за что в Сорбонне дают студентам премии! За эту... похабщину!

«Ну сейчас он получит у меня!» – Редников решительно обернулся к сыну.

Никита тем временем подошел к столу, налил воды из графина, залпом опрокинул стакан и воззрился на Алю.

– О, и пишущая братия уже здесь? Наше вам!

Аля подняла глаза, посмотрела насмешливо:

– Как головной убор, не пострадал?

– Он у него давно пострадал, – бросил Дмитрий, едва сдерживая ярость.

Никита вскинулся, резко обернулся к отцу и, увидев в руках у него фотографии, невольно отступил на несколько шагов, побледнел. Отец же, швырнув в пепельницу недокуренную папиросу, неумолимо надвигался на сына.

– Пойдем-ка побеседуем! – Он махнул головой в сторону комнаты.

– А что, что такое? – Никита пытался говорить с вызовом, но голос звучал испуганно и жалко.

– Да так, ничего! – Дмитрий почти втолкнул его в комнату и плотно прикрыл за собой дверь.

Оставшись одна, Аля медленно поднялась. На веранду доносился громовой голос Мити. Быстро оглядевшись по сторонам, девушка выхватила из пепельницы тлеющий окурок и поспешно сунула его в рот, резко втянула едкий дым и согнулась в приступе беззвучного кашля. Потом бросила папиросу, дотронулась пальцами до собственных губ и, словно удивляясь самой себе, медленно покачала головой.



Редников-старший яростно мерил шагами комнату.

«Дурак! Безмозглый напыщенный молокосос! Ни черта не знает о жизни, рос как в теплице, у папы с мамой за пазухой. Теперь вот бунтует. Возомнил себя черт-те кем! Он даже и не представляет себе, куда могут завести эти его разоблачительные выходки».

– Что это за мерзость ты наснимал, – начал Дмитрий, медленно, тяжело выговаривая слова. – Эта грязь никакого отношения к искусству не имеет.

– Это «Париж глазами русского», – хорохорился Никита.

«Ведь если узнают, пронюхают, – лихорадочно соображал Дмитрий. – Этот обалдуй, конечно, разболтал все приятелям. Из ВГИКа попрут, это уж как пить дать. «Париж глазами русского»... Может, удастся выдать за антикапиталистическую пропаганду?»

Никита, расценив молчание отца как начало отступления, принялся нападать:

– За эту, как ты говоришь, мерзость и грязь мне первую премию дали. А для тебя, конечно, искусство – это доярок снимать. Трактористов там всяких, передовиков производства... Наши колхозы самые колхозные в мире, так?

– Что ты понимаешь, мальчишка! – взвился Дмитрий Владимирович. – Искусство не должно тыкать носом в дерьмо. В нашей советской стране нет ни проституции, ни гомосексуализма. Или тебе это не известно? И советскому зрителю незачем на это смотреть, ему это неинтересно. Кино должно

дарить надежду, радость!

Никита, скривившись в скептической ухмылке, выслушал монолог отца и отвесил ему шутовской поклон – мол, браво, товарищ Редников, благодарим за пламенную речь.

– Ты бы хоть передо мной не выпендривался! Как будто я не знаю, что ты снимаешь все это благолепие, потому что боишься... Потому что верно служишь им! – Никита махнул рукой в сторону висевшей на стене фотографии, где молодому Редникову вручали Сталинскую премию. – Ну да, у меня же «головной убор не в порядке», я не понимаю ничего, не вижу... И это после всего, что они сделали... Мало тебе родителей твоих, мало того, что мать все эти годы – с тех пор как ты шишкой стал, в загранку ездить начал – в большой дом таскали, психичку из нее сделали... А ты все это терпел, глаза на все закрывал. Да еще и хвалебные оды им пел!

– Ты же видел мои последние материалы, – тихо, все еще пытаясь побороть заливающий глаза гнев, начал Дмитрий Владимирович.

– А что материалы... – картинно расхохотался Никита. – Ну снял, да... Поигрался в свободу... Ты же все равно все вырежешь, как только ОНИ прикажут! Для тебя ведь никого дороже нету, чем начальственная задница. Вчера, когда у матери приступ был, ты даже с места не сдвинулся. Разумеется, сверху же пришли, нужно прогнуться как следует, а то за очередной эпос премии не дадут!

Уже не в силах сдерживаться, Дмитрий шагнул к сыну

и наотмашь ударил его по щеке. Никита отлетел в сторону, впечатался спиной в буфет – и тяжелая хрустальная пепельница сорвалась и покатила по полу.

Никита, с трясущимся лицом, закрыв рукой горящую щеку, продолжал выкрикивать, инстинктивно пятясь от наступавшего отца.

– Ты всю жизнь боялся... – Голос его срывался на всхлип. – Отберут! Снимать не дадут! А то еще посадят! Лишь бы успех, лишь бы премии государственные, полные залы... Чтобы студенткам интервью давать – божество в интерьере, ага? А мать – к черту, да? Лес рубят – щепки летят!

Редников, уже не соображая, что делает, сжимая кулаки, надвигался на сына.

– Герой, – свистящим яростным шепотом произнес он. – Всю жизнь все на блюдечке получал... Сам ничего еще не сделал, ничего не добился. Тебе просто не за что пока бояться, понимаешь? Да ты...

Он занес было руку, Никита в испуге дернулся, вжал голову в плечи, закрыл лицо локтем, и Дмитрий Владимирович, словно очнувшись, в бессилии опустил кулак, произнес глухо:

– Пошел вон отсюда! Засранец!

И тут же в комнату ворвалась Тоня, заслонила собой сына, замахала руками, запричитала:

– Не пущу, не дам! Оставь мальчика в покое!

Никита пытался что-то еще выкрикнуть из-за плеча мате-

ри, но Дмитрий не стал слушать.

Скрипнула дверь, и в комнату робко заглянула Аля.

– Там машина пришла, – осторожно сообщила она.

Тоня вскинулась, недобро посмотрела на девушку, затем на Дмитрия.

– Поезжай, поезжай, Дмитрий Владимирович! Вот и девушка тебя ждет, нехорошо.

«Теперь и этим еще себя накрутит, – вздохнул Редников. – Сочинит какой-то немыслимый роман со студенткой. И снова все эти рыдания, заламывания рук... «Я тебе всю жизнь, а ты...» Что за черт!»

Он кивнул Тоне и, не глядя на Никиту, вышел вслед за Алей на веранду.

Мосфильмовская машина стояла за воротами. Редников и Аля спустились с крыльца и пошли по вымощенной плитками дорожке. Дмитрий несколько раз глубоко вдохнул, успокаиваясь.

Солнце поднялось уже высоко, и в нагретом воздухе разливался запах цветущих деревьев: сладкий, медовый – липовый и горьковатый, терпкий – рябиновый.

Митя взглянул на молча шагавшую рядом Алю.

«Хоть одно человеческое лицо», – хмуро подумал он, но вдруг невольно улыбнулся и взял девушку под руку. Та чуть вздрогнула, обожгла быстрым взглядом, но руки не отняла. Дмитрий чувствовал, как бьется под пальцами тонкая жилка на ее запястье.

«А красивый получился бы эпизод. — Как всегда, в голове стали прокручиваться будущие кадры. — Пара идет по дорожке, над головами смыкаются рябиновые ветки, а впереди, за резным забором, черная машина. Да, машина непременно. Чтобы добавить щемящей нотки, чувства тревоги...»

— А Антонине Петровне сегодня лучше? — нарушила молчание Аля.

Дмитрий очнулся от своих мыслей и рассеянно кивнул — лучше, да. Аля взглянула на него, как будто не решаясь задать какой-то вопрос, и Дмитрий, опережая ее, сказал:

— Тоня очень хороший человек. У нее дар редкий, сочувствовать умеет, сопереживать. Как никто. Я сразу это понял, при первом знакомстве. Знаете, как это произошло?

Редников начал рассказывать, и Аля, слушая его, словно видела перед собой продолжение вчерашнего фильма, «повести о моем детстве».

*По улицам послевоенной Москвы спешат счастливые, радостные люди. Страшное осталось позади, наступил мир, вернулись с фронта отцы, братья, мужья. Да и день на удивление солнечный и теплый. Прыгают по лужам смешные взъерошенные воробьи, заливаются радостным звоном трамваи, школьники играют в футбол на асфальте.*

*Дима, молодой парень, выпускник ВГИКа, спешит по улице. Он необычайно весел, широко улыбается, поддает ногой мяч футболистов, на ходу помогает пожилой женщине взобраться на подножку трамвая, вбегает во двор своего дома*

*и встречает приятеля.*

*— Большие новости, — на бегу сообщает он другу. — Госкино деньги выделило на съемки. На Урал уезжаю снимать.*

*— Ну давай, Эйзенштейн! — несется ему вслед.*

*А Дима уже взлетает вверх по лестнице и открывает ключом дверь коммунальной квартиры.*

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.